

Алекс ТАРН



ШЕШЕЛ

РОМАН



Трилогия о Берле

Алекс Тарн

Пепел

«Вимбо»

2005

Тарн А.

Пепел / А. Тарн — «Вимбо», 2005 — (Трилогия о Берле)

ISBN 978-965-7180-27-3

«Пепел» – вторая книга трилогии о Берле. Под названием «Бог не играет в кости» этот роман был включен 2007 году в финальную шестерку престижной литературной премии «Русский Букер». Трудно однозначно определить его жанр: под маской остросюжетного триллера прячется и мелодрама, и философская притча, и пародия, и политический детектив. Но главное, видимо, что это книга о Катастрофе, о неизгладимом отпечатке, который она накладывает на всех нас, ныне живущих, о связанных с нею исторических параллелях и современной ответственности. Роман «Пепел» («Бог не играет в кости») был включен в 2007 году в длинный список литературной премии «Большая Книга», а позднее вошёл и в финальную шестерку «Русского Букера – 2007».

ISBN 978-965-7180-27-3

© Тарн А., 2005

© Вимбо, 2005

Содержание

I	6
Конец ознакомительного фрагмента.	21

Алекс Тарн

Пепел

© Алекс Тарн

* * *

I

«А вот я тебя!..» – Берл сильно гребанул руками, для пушего эффекта задудев в дыхательную трубку. Но крупная серая рыбина с темными пятнышками по бокам лишь лениво шевельнула хвостом и сразу разорвала дистанцию. Ах ты, черт, ну никак не пугается... Рыба-шар, в просторечии именуемая «abu-напха», имеет обыкновение сильно раздуваться в случае опасности. Но Берл, похоже, не внушал ей особых опасений. То ли дело смуглые бедуинские подростки, вооруженные сетью и блестящими острыми гарпунами. Этих любой abu-напха боится пуще смерти, что, собственно, и является причиной охоты: убитые на пике ужаса и размеров рыбины высушиваются и продаются туристам в качестве экзотических абажуров.

«Дурак ты, – разочарованно думал Берл, оставив в покое неустрашимого abu-напху и медленно дрейфуя вдоль края коралловой стенки. – Кого не надо боишься, а меня игнорируешь...»

Он фыркнул по поводу собственного легкомыслия: «Как же, как же, легко тебе говорить, из тебя-то абажуры не делают. Гм... потому и не делают, что я от страха не раздуваюсь! А вот если бы делали, то еще как бы раздувался... Вот ведь какой заколдованный круг получается.»

Как всегда под водой, он испытывал необыкновенное чувство, близкое к восторгу, и одновременно глубокий покой и уравновешенность. Если бы можно было так и жить, превратившись в рыбу, и неторопливо плавать на своем участке рифа, в невероятных красках подводного царства!

Он успел углядеть раскрытую зубастую пасть, высунувшуюся из кораллового грота, и нырнул – как раз чтобы оказаться нос к носу с небольшой муреной. Какое-то время они смотрели друг другу в глаза: Берл – с задорным выражением забияки, ищущего приключения на чужой танцплощадке, мурена – с усталостью измученного насморком больного, поневоле вынужденного дышать исключительно через рот. Наконец рыба решила не связываться и попятилась в грот. Зато налетела стайка старшин в полосатых тельниках, никогда не упускающих возможности поиграть с неуклюжим человеком. Берл, конечно же, не отказал им в этом удовольствии, безуспешно пытаясь дотронуться до вертких маленьких нагледцов. У большого анемона он был по собственному недосмотру атакован крошечным самцом рыбки-клоуна, который самоотверженно охранял гнездо, спрятанное в колышущихся ядовитых зарослях. Желтенький клоун размером с ладонь отважно насакивал на многократно превосходящего его противника и даже разок ущипнул Берла за голень. Пришлось спешно ретироваться.

«Понял? – Берл оглянулся на abu-напху. – Вот как надо, бжу...»

Прямо под ним большая рыба-попугай с меланхоличным видом соскребала еду с коралловой ветки. Хруп-хруп... с таким-то клювом отчего бы и не поскрести... хруп-хруп... Еще ниже, сливаясь с дном, шевелила сумасшедшими глазами рыба-крокодил, на дальней отмели покачивались песчаные угри. Берл взглянул на часы. Уже скоро полчаса как он здесь, а время пролетело, как одна минуточка. Эх... пора выходить. Ради остроты ощущений он еще немного погонялся за коричнево-бело-бежевым лучистым скорпионом, который по ядовитости не уступал самым опасным змеям. Слегка обалдев от такой наглости, рыба сначала удирала, а потом, когда пришла в себя и развернулась, чтобы задать Берлу хорошую трепку, трусливый преследователь немедленно покинул поле боя, отступив в сторону берега. То-то же... скорпион расправил иглы и, вернув себе подобающую солидность, снова завис в неподвижности над фантастическим коралловым ландшафтом.

Берл вышел на берег, с сожалением сменив прохладу морской воды на сухую сорокаградусную синайскую жару. Бедуин в белой галабии сидел под пальмой, колдуя с костерком.

– Что слышно, Селим? – Берл говорил на иврите. – Когда чай будет?

Парень поднял голову от закопченного чайника и улыбнулся чернозубой улыбкой.

– Чай готов, господин. Когда назад поедem?

– Вот чай попьем и поедem...

Берл присел на корточки. Недолгое израильское присутствие в Синае оставило после себя прекрасные дороги и поголовное знание иврита среди местных бедуинских племен. Первое мало-помалу приходило в негодность, зато второе продолжало цвести пышным цветом, подкрепляемое толпами беспечной израильской молодежи, охочей до синайской расслабухи, роскошного рифа и дешевой травки.

Селим протянул Берлу маленький стаканчик черного бедуинского чая, приторно-сладкого, горячего, но на удивление подходящего к сумасшедшей жаре. Берл отхлебнул и замер, глядя сощуренными глазами на синюю рябь моря, на голубоватый саудовский берег напротив и на черный сухогруз, неторопливо продвигающийся на север, в сторону Эйлата. Он вдруг поймал себя на мысли, что мог бы сидеть вот так часами, даже неделями... может, даже всю жизнь. Эта слепящая рябь, под которой плавают несговорчивый абу-напха, и храбрый клоун, и прочее все... прочее все, что даже невозможно описать, но главное – знать, что оно там есть. Этот дальний берег, плывущий в слоистом от жары соленом воздухе, эти красные синайские горы за спиной, и белый песок под ногами, и обжигающий чай, и финиковая пальма над головой.

– Налей-ка мне еще, Селим...

– А как же... – улыбается бедуин. – Не хочет ли господин курнуть кой-чего хорошего?

– Нет, бижу, господин не курит. Ты сам-то кури, господин без предрассудков.

– Зачем предрассудков? – возражает щедрый Селим, неправильно истолковав незнакомое слово. – Селим угощает. Кури мою, даром!

Берл вздыхает и закрывает глаза, а под веками мечутся солнечные пятна в прозрачной воде, и насморочная мурена, и нахальные старшины, и цветастые рыбы-бабочки в зарослях горгоний.

– Поехали, Селим, дружище. Пора домой, в гостиницу.

А Селим – что, Селиму – пожалуйста. Бедуин быстро собирает нехитрое добро: коврик, чай с чайником, где копать – чуть ли не сантиметровыми слоями, деревянные стойки, дровишки... дорого топливо в пустыне... Вот и все – поехали, господин. И садятся они на верблюда, а точнее – на тендер тойота, любимое средство передвижения в новейшей бедуинской истории. Щелчок ключа в замке зажигания – как щелчок кнута по верблюжьей спине – эй, горбатые, эй, залетные!.. Залетные? Нет, заступные... – верблюд ведь не летает, даже не бегаёт, верблюд ступает... чего, впрочем, не скажешь о ведомой обкуреным Селимом тойоте. Йалла, вперед, прыг-скок по выбеленной солнцем пылящей пустыне, в объезд армейского египетского поста, чтобы не платить бакшиш неизвестно за что сонному солдату в стоптанных шлепанцах, йалла-эй, бедуинская вольница, даабское такси!

Сопровождаемые шлейфом пыли, они миновали Вади Гунейн, оставив далеко справа армейский блокпост под египетским флагом. Вот и шоссе, и белые дома Дааба, и длинные вечерние тени разноцветных синайских гор, и свежий ветер, шепчущий на языке пальм. Берл расплатился с бедуином за дневную прогулку, кивнул портье-суданцу, поднялся в номер. Тепловатый душ, соленая корка на упругой коже... а под веками закрытых глаз – колышущиеся прозрачные анемоны, и рыбы-бабочки, и лучистый скорпион, висящий над ярко-зеленым кустом коралла, именуемого «латук» за свою салатную внешность.

Обернувшись полотенцем, Берл сел на диван и принялся гипнотизировать телефон. Условленное время звонка – с шести до семи, утром и вечером, дважды в сутки. Но телефон упрямо молчал, не желая поддаваться гипнозу, молчал вот уже четвертый день. Стрелка настенных часов дернулась и, издевательски помедлив, перевалила на восьмой час. Теперь уже все. Сегодня уже не позвонят. Может быть, завтра утром... А собственно говоря, чего расстраиваться? В кои веки по-настоящему отдыхаешь. Расслабься, парень, поплавай, позагорай... – чем плохо? На кой черт тебе сдался этот звонок? Гм... ну как... А вот так!

Берл вздохнул. Он просто давно уже отвык сидеть без дела. Без дела? Вообще-то и здесь, на берегу синайской Ривьеры, в туристском поселке Дааб, он оказался по делу. Сюда должен был приехать некий серьезный мужчина по имени Збейди, приехать за деньгами. Деньги, проходящие через Збейди, имели неприятную тенденцию превращаться затем в оружие, а оружие – в кровь израильтян. Такая вот цепочка. Конечно, можно было бы заняться самим Збейди, но это не выглядело разумным. Свято место пусто не бывает. Не успеешь оглянуться – придет другой, пока неизвестный, поди вычислиай его, выщеливай, отслеживай. Нет, цепочку следовало обрубить у самой стенки, с первого звена. Надо было найти источник денег, найти и закупорить. Террор может обойтись без оружия, без обученных исполнителей, без сильных лидеров – без всего, кроме денег. Без денег террор бессилён.

А деньги шли откуда-то из Европы, а может быть, *через* Европу – чтобы избавить их от слишком явного запаха арабской нефти, контрабандного табака, азиатского опийного мака. В самом деле, отчего бы этим деньгам не пахнуть французскими духами, бельгийским шоколадом или добрым немецким пивом? Так или иначе, от Берла требовался изрядный нюх, чтобы определить настоящий источник. И старина Збейди, денежный курьер «Исламского джихада» и «Братьев-мусульман», должен был послужить первой приманкой в этой большой охоте. По надежной информации, очередную передачу планировали произвести именно здесь, в Даабе, где естественность контакта европейских туристов с местными бедуинами и приезжими арабами представляла собой идеальное прикрытие. Проблема для Берла заключалась в том, что время передачи было известно только ориентировочно: плюс-минус неделя. Теперь он сидел на даабском берегу в вынужденном бездействии, ожидая телефонного инструктажа с более точными координатами курьера, которые предполагалось выяснить только в самый последний момент.

О-хо-хо... Берл потянулся и стряхнул с себя невеселые мысли. Отдыхай, парень, завтра непременно позвонят. Было уже темно, когда он вышел из гостиницы. Единственная улочка Дааба сияла ярко освещенными лавками. Медная чеканка, дешевые украшения, бедуинские ковры соседствовали с непременными китайскими безделушками и «настоящими» золотыми роллексами по десять долларов штука. Праздная, расслабленная толпа медленно фланировала в сторону моря, туда, где уже поджидали гостей десятки ресторанов, выставив на подносах у входа свежевывловленную рыбу – выбирай не хочу. Но у продавцов в лавках имелись на этот счет другие планы:

- А вот – кому ковры ручной работы?..
- Эй, красивая, заходи, бусы в подарок!..
- Часы! Часы!
- Ах, какая у тебя дочка! Продай за сто верблюдов! – Нет?
- Двести! – Нет? – Ну, тогда купи что-нибудь...
- Зайди ко мне, куда торопишься? Здесь никто не торопится, разве не знаешь?..

И люди, улыбаясь, заходят в лавки, потому что здесь и вправду никто никуда не торопится, а навстречу улыбается от кальяна толстый усатый хозяин, и шустрые ребята-приказчики, пересыпая каждый шаг шутками-прибаутками, вертятся вокруг, расстилая волшебные ткани, снимая со стены ковры-самолеты, прилетевшие сюда напрямик из тысячи и одной ночи. А эта, тысяча вторая, лениво лежит на боку, упиравшись голыми пятками в темную гряду синайских гор, свесив в море черные бедуинские косы, и тоже не торопится ровным счетом никуда; да и само море, заразившись общей неторопливостью, успокаивается, и шепчет что-то берегу, и лижет его губы нежным соленым языком.

Берл медленно продвигался к бухте, с переменным успехом уклоняясь от приказничьего гостеприимства. На полдороге он позаимствовал безмятежную улыбку у красавицы блондинки, которая самозабвенно булькала кальяном у входа в одну из лавчонок, и теперь эта улыбка не слезала с его собственных губ, делая его похожим на всех обитателей синайского

земного рая, временных и постоянных. И потом, возлежа на подушках рыбного ресторана у самой кромки воды, глядя на бухту, расцвеченную гирляндами разноцветных фонариков, терпеливо ожидая заказанный полтора часа назад акулий стейк, Берл в очередной раз удивился своей абсолютной расслабленности, поразительному душевному равновесию, которое Синай непостижимым образом внушает любому человеку, попадающему в колдовское поле его тяготения. Но где же еда, черт возьми?

Повинуясь его поднятой руке, подошел официант.

– Что угодно господину?

Берл заставил себя открыть рот. В тотальной расслабке души и организма даже язык его насилу ворочался.

– Господин интересуется судьбой акулы, – сказал он. – Скоро будет два часа, как вы приняли у меня заказ. Вы что, уговариваете рыбу вырезать себе стейк добровольно?

Официант рассмеялся, показывая, что юмор клиента оценен должным образом.

– Стейк будет готов через несколько минут. У нас маленький ресторан, господин. Мы начинаем готовить только после заказа и готовим с душой, не торопясь. В Даабе вообще никто не торопится – разве господин еще этого не понял?

Берл примирительно кивнул, соглашаясь, и откинулся на подушки. Перед ним на низком столике горела стеариновая свеча в подсвечнике, сооруженном из обрезанной сверху пластиковой бутылки из-под колы. Над головой между крупными звездами покачивалась гирлянда разноцветных лампочек. Море хрупало галькой прямо под подушкой. Хруп-хруп... интересно, что сейчас поделявает рыба-попугай? Дрыхнет небось без задних плавников. И никуда не торопится, заметьте. В Даабе вообще никто никуда не торопится. Господин понял.

Звонок раздался ровно в шесть утра, как раз когда Берл брился. Он неловко подхватил трубку, пачкая ее в белой бритвенной пене.

– Аллю!

Голос в трубке был женским и, в противоположность даабской традиции, ужасно торопливым.

– Аллю! Коби? – Она не стала ждать ответа и затараторила без передышки: – Я так по тебе соскучилась, мамми! Когда же ты вернешься к своей мамочке?

Берл поморщился. Мамми... к мамочке... Могли бы придумать что-нибудь менее пошлое.

– Что ты там поделяваешь? – продолжала бойкая собеседница. – Небось ведь трахаешь всех подряд, половой гангстер ты эдакий. Ну подожди, вернешься, я задам тебе трепку! Шучу, мамми, шучу...

– Гм... – вставил Берл, не зная, протестовать или смеяться.

– А пока я шлю тебе надзирательницу, понял? – трубка противно захихикала. – Мою подружку Лиору со своим хахалем. Уж она-то за тобой присмотрит! Шучу, мамми, шучу...

– Здорово! – сказал Берл с фальшивым энтузиазмом. – А когда они приезжают?

– Только что выехали из Табы! Она мне звонила, там мобильник еще действует. Взяли какое-то бедуинское такси – знаешь, эти тендеры, как их... Ну ты знаешь... исузу, что ли... да, да, исузу. В общем, часика через два будут в Даабе, встречай!

– Нет проблем, встречу, – сказал Берл.

– Целую тебя, мамми, – В трубке оглушительно чмокнули. – Смотри не очень там балуй! Ах, как все-таки жалко, что я не смогла с тобой выбраться! Бай, мамми! Люблю, люблю, люблю...

– Я тебя тоже, паппи, – ответил Берл со всей чувственностью, на какую только был способен, и повесил трубку.

Через четверть часа он уже подходил к площадке, где даабские бедуины ждали заказчиков. Хорошие места для ныряния находились в некотором отдалении от городка, так что,

как правило, туристы арендовали тендер вместе с шофером на целый день. Селим бросился к Берлу, радостно улыбаясь.

– Сегодня рано, господин! Куда поедem?

– Да тут, рядом... езжай пока вперед... – неопределенно отвечал Берл.

На выезде из поселка он попросил Селима остановиться.

– Вот что, бижу. Оставь мне машину на весь день, а сам иди домой. Хорошо заплачу.

Селим испуганно замахал руками:

– Нельзя, господин! Запрещено!

Берл молча достал стодолларовую бумажку и расправил на колене. Селим крикнул.

– Нельзя, – неуверенно повторил он.

Берл добавил еще сотню.

– Смотри, бижу, ты тут не один такой. Найдутся другие. За двести-то долларов...

– Тебя полиция остановит, – сказал Селим, глядя на доллары.

– Не остановит... – Берл пошуршал бумажками, почти физически ощущая ответный трепет бедуинского сердца. – Ты мне свою кафию одолжишь. Одолжишь ведь, а?.. А впрочем, зачем одалживать? Давай-ка я у тебя куплю все чохом – и кафию, и галабию...

Берл достал третью бумажку.

– Когда вернешь? – глухо проговорил Селим.

– Галабию? – переспросил жестокий Берл. – Галабию не верну, ее я насовсем беру... Да не переживай ты, бижу. Сам подумай – ну куда я денусь с твоей тойотой? Да и зачем мне она? На сутки всего и беру, завтра здесь же и встретимся, в это же время. Ну?

– Ладно, – сдался бедуин. – Договорились. Ты только особо по кочкам не прыгай, ладно? Задний мост у нее не очень...

Еще не было семи, когда Берл, облаченный в длинную бедуинскую галабию, с белоснежной кафией на голове, припарковал тойоту как раз возле перекрестка на въезде в Дааб. Дорога, прямая как стрела, улетала от поворота на запад и, в два счета преодолев плоскую, как стол, пустошь, вонзалась в красный горный распадок, соединяясь там с транссинаяским шоссе. За спиной тянулся грубый глинобитный забор молодежного кемпинга, еще дальше рябило яркосинее поутру море. Машин проезжало совсем немного: пара-тройка израильских легковушек да местные тендеры с открытым кузовом – тойоты, мицубиси, исузу. Последние интересовали Берла особенно. Он не сомневался, что узнает Збейди в лицо. Водители притормаживали на повороте, так что рассмотреть их не составляло никакого труда.

Кондиционер в селимовой машине не работал, да и зачем бедуину столь бесполезная игрушка? Поэтому к моменту, когда исузу денежного курьера вынырнула из ущелья, Берл успел основательно прожариться в кабине. Збейди неторопливо въехал на перекресток, скользнул безразличным взглядом по истекающему потом нехарактерному «бедуину» и повернул в поселок. Подождав с десятков секунд, Берл двинулся следом.

На единственной даабской площади по-прежнему кучковались «таксисты», поджидая клиентов. Збейди остановился там же, вышел из машины, потянулся, разминая кости после долгой дороги. Берл лезть в гущу не стал, а притулился в тенечке неподалеку, оберегая себя от солнца и от излишних осложнений: селимов тендер на площади наверняка многие бы узнали.

Семьями, компаниями, в одиночку туристы подтягивались к стоянке, лениво торговались, переходили от машины к машине. Такса была известна всем и, как правило, не менялась, но торговля входила в местный ритуал в качестве непрямого этапа любой сделки или знакомства – что-то вроде рукопожатия. Никто, как всегда, никуда не торопился. Солнца, моря, гор и душевного равновесия здесь хватало на всех. На этом безмятежном фоне резко выделялся, пожалуй, один лишь белобрысый парень, лет двадцати, нервно топчущийся без дела на самом солнцепеке. Он явно кого-то поджидал. Из большой спортивной сумки, небрежно брошенной на залитый маслом асфальт, торчали не уместившиеся целиком внутри ласты. На

спине у парня висел кожаный рюкзачок – по всем признакам, достаточно тяжелый. Подходивших предложить свои услуги бедуинов белобрысый встречал с несколько неестественной заинтересованностью, которая, впрочем, немедленно рассеивалась, стоило им обменяться несколькими словами.

Берл ухмыльнулся и посмотрел на Збейди. Тот спокойно покурил около своего тендера, поглядывая по сторонам, особо внимательно ощупывал взглядом белобрысого, но подходить не торопился.

«Конспиратор... – насмешливо подумал Берл. – Этого белобрысого неврастеника видно из самого Шарм-аш-Шейха. Что у них там, никого получше не нашлось?»

Збейди затоптал сигарету и неторопливо двинулся к парню...

– Эй, ты свободен?

Берл вздрогнул от неожиданности и повернулся. С противоположной стороны кабины, просунув в окошко выбеленную солнцем голову, на него взидала умопомрачительная блондинка в ситцевой распашонке, скупно застегнутой ровно на одну пуговицу. Он сразу узнал ее – та самая, давешняя, курившая кальян у входа в сувенирную лавку, освещающая улицу своей медленной улыбкой.

– Э-э... – протянул он, маскируя свое замешательство затруднениями в английском. – Привез клиента. Утром, из Табы. Я не отсюда.

Девушка рассмеялась:

– Мы тоже не отсюда. Нас четверо. Сорок фунтов. Идет?

– Куда? – осторожно спросил Берл, косясь в сторону площади. Збейди и белобрысый уже шли в сторону исузу.

– Куда, куда... надо же, какой нерешительный попался, – удивилась блондинка. – Куда поедем, наркоманки?

Она обернулась к трем сонным девушкам, молча подпирающим забор в двух шагах от машины. Одна из них непонимающе моргнула и равнодушно дернула ртом. Две остальные не отреагировали никак.

– А черт его знает, куда, – весело сказала блондинка, возвращаясь к Берлу и наклоняясь совсем низко, отчего распашонка распахнулась еще больше, демонстрируя обе груди одновременно. – Тут везде хорошо. Разве нет, мужчина?

Она повела плечами движением цыганской танцовщицы.

«Хорошо-то хорошо... – подумал Берл. – Жаль, что не ко времени...»

Збейди и парень сели в машину. Пора было отшивать непрошенных клиентов.

– О! Идея! – воскликнула девушка, торжествуя прищелкнув языком. – Пускай судьба решает. И за нас, и за тебя. Езжай следом за первой же машиной... – да вот хоть за той исузу. Куда они – туда и мы.

– Шестьдесят, – сказал Берл.

– Сдано! – Она повернулась к своим товаркам и махнула рукой. – Эй, подружки! Полежайте в кузов! Да не забудьте шмотки!

Между собой девушки разговаривали на немецком.

исузу, переваливаясь на выбоинах, выбралась на шоссе и повернула направо.

– Ну-у... – разочарованно протянула блондинка. – Вот тебе и судьба – никакой оригинальности. В той стороне только Голубая Дыра. Повезло тебе, парень.

Она свободно устроилась на пассажирском сиденье, закинув на приборный щиток обе загорелые ноги в шлепанцах. Берл молчал, не поддерживая разговор. Ему стоило немалого труда корезить свой английский тяжелым арабским акцентом.

Голубая Дыра располагается совсем недалеко от Дааба – бездонная коралловая яма метров двести в диаметре, одна из главных синайских достопримечательностей. Около Дыры всегда полно народа. Она как магнитом притягивает к себе и начинающих аквалангистов, и чайни-

ков, вооруженных одной лишь маской и дыхательной трубкой, и глубоководных ныряльщиков, мечтающих добраться до никем еще не покоренных глубин. Эти-то, глубоководные, и гибнут здесь не реже нескольких раз в год. Обычный восторг, внушаемый даабским земным и подводным раем, на больших глубинах подкрепляется азотным опьянением, и ныряльщики просто остаются там, счастливые последним, зато безграничным счастьем.

Берл не любил это место. Где-то там, в коралловых гротах, на относительно небольшой шестидесятиметровой глубине остался его армейский приятель Эли Лис. Теперь его имя было нацарапано среди десятков других на импровизированных мемориальных досках, раскиданных между духанами с колой и мороженым.

Блондинка вкусно зевнула с подвыванием и потягиванием. Распашонка при этом слетела с последней пуговицы, и груди радостно вывалились наружу. Берл вильнул, наскочив колесом на камень.

Вредная девица захихикала:

– Пардон, мужчина. Не хотела тебя шокировать. Давай познакомимся, что ли? Меня зовут Клара, я из Дортмунда. Знаешь, где это?

Берл мрачно помотал головой из стороны в сторону. Грунтовая дорога, извивающаяся между горами и морем, и так была непростой, а тут еще эта дура в распашонке... Зря он, наверное, взял с собой эту прикольную команду. Хотя, с другой стороны, с тремя девицами в кузове и одной в кабине его тойота не вызывает никаких подозрений. Обычное такси, везущее обычных клиентов по обычному маршруту. исузу неторопливо переваливалась впереди с камня на камень.

– Германия, – сказала Клара. – Слышал о Германии? Тоже нет? Ну ты даешь... хотя это не главное. Мы любим мужчин не за знание географии... – она расхохоталась собственной шутке. – А в кузове та, которая рыжая, – это Фанни, моя подружка. А как двух других обкуранных шлюх зовут, я без понятия. Мы их вчера с Фанькой на берегу подобрали. Откуда-то из Швеции. Знаешь, где Швеция?

Берл мстительно кивнул. Они проехали под узкой скальной аркой, сопровождаемой крутым поворотом, причем непривычный к подобной автомобильной эквилибристике Берл едва не опрокинул тендер в море. Он ожидал услышать визг из кузова, но даже это приключение не вывело его пассажиров из счастливого состояния наркотической безмятежности. Сразу после арки перед ними открылась широкая дуга бухты, тростниковые навесы с набросанными под них подушками, люди, машины, груды аквалангов... и в десяти метрах от берега – ярко-синее, почти круглое пятно – Голубая Дыра.

Берл остановил свой тендер практически вплотную к исузу. Девушки выпрыгнули из кузова, вышел и он. Збейди и белокрысый попрощались в шаг от него.

– Ну, хорошо тебе отдохнуть, – говорил Збейди, протягивая руку. – Ты где остановился?

– Отель «Ренессанс», – отвечал белокрысый. – Двести пятый номер.

Сумку он держал в руке. Кожаный рюкзачок остался в тендере.

«Боже... – подумал Берл, помогая Кларе выбраться из кабины. – Где они такого идиота раздобыли? Скорее всего, просто одноразовый мальчик. Соблазнили бесплатной поездкой, а теперь...»

– Бай! – Клара потрепала его по щеке. – Подваливай часикам к трем, географ!

Ага, как же, разбежалась... Пора было приниматься за дело. Он вынул из кабины пластиковую бутылку с водой и выронил, да так неловко, что она выскользнула из рук и покатилась под збейдовский тендер. Берл полез под машину, по дороге припоминая все известные ему арабские ругательства. Набралось много. Когда он распрямился, белокрысый уже ушел, а Збейди стоял прямо над ним.

– Что надо? – Араб смерил Берла подозрительным взглядом.

– Вот... – Берл показал ему бутылку и расплылся в самой идиотской улыбке, на какую только был способен. Збейди пожал плечами и отвернулся.

Ну и чудненько... Берл вернулся в кабину и тронул тойоту с места. По его расчетам, Збейди должен был немедленно покинуть Дааб. Он уже получил то, ради чего приехал. А раз так, то разумнее подждать его теперь на каком-нибудь безлюдном участке единственной дороги, ведущей из поселка в глубь Синая. Где-нибудь уже в горах, но еще до египетского блокпоста, миновать который в таком бедуинском камуфляже у Берла не имелось ни единого шанса. Хотелось также надеяться, что скромный подарочек, оставленный Берлом на передней полуоси исузу, не слетит от сумасшедшей тряски по этой чертовой грунтовке. Проехав через Дааб, Берл быстро пересек широкую в этом месте прибрежную равнину и въехал в ущелье. Солнце уже стояло высоко, и рассчитывать на тень не приходилось. Найдя подходящий участок с поворотом покруче, Берл развернул тендер и остановился на обочине, молясь только о том, чтобы Збейди не заставил его ждать слишком долго.

Свидетель № 1

Хорошо, Ваша честь, я постараюсь вспомнить. Нет, это было уже после Рождества... думаю, где-то в середине января. Ну да, конечно, что это я так путаюсь – ведь Йозеф сам рассказал мне потом. Его арестовали в январе тридцать девятого и сразу направили к нам, в Дахау. Он был совсем свеженький – из тех, кто еще не научился ходить своими ногами. Что? Нет, Ваша честь, это я так фигурально выражаюсь. В лагере очень трудно выжить, особенно поначалу: слишком много правил, которые надо твердо знать и выполнять автоматически, а иначе вас ждут крупные неприятности. То есть не вас, Ваша честь, а вообще.

Извините меня за путаную речь – мне ведь не так часто приходится свидетельствовать на столь высоком суде. Так вот, с этими правилами сушая беда, настолько их много. Поэтому свежие заключенные и погибали чаще других. Это ведь только так говорится, Ваша честь, что человек учится на собственных ошибках. В лагере никто вам такой возможности не дает. Ошибка в лагере означает смерть, так что приходится учиться на чужих промахах. И тут уже как повезет: можешь оказаться учеником, а можешь... хе-хе... и учебным пособием. Известно, что любое дело вначале сильно зависит от везения, а лагерь, Ваша честь, в особенности, можете мне поверить! Вот такие гвоздики с колечками...

Но все-таки на одном везении далеко не уедешь. Даже самый удачливый человек не может вечно ходить в дождь между капель. Нужно еще и уметь учиться... как бы это вам объяснить?... Это ведь не уроки в школе, где учитель неделями втолковывает всем вместе и каждому по отдельности таблицу умножения, долдоня по двадцать раз одно и то же, пока самый тупой не запомнит. Тут, в лагере, – другое. Тут надо многое уметь... ловить взгляды, видеть самые неприметные жесты, слышать самый быстрый шепоток, чувствовать запах чужого страха под густой вонью своего собственного. Тут никто повторять не станет, не усвоил – пеняй на себя.

Йозеф, слава богу, умел учиться. Но и повезло ему, конечно, тоже. Я имею в виду – повезло, что я взял его под свою опеку. Скажу без лишней скромности – я к тому времени на лагерных порядках собаку съел. Два с лишним года – не шутка. Сам-то я, Ваша честь, оказался в Дахау после Берлинской Олимпиады. По собственной глупости, должен сказать. На время Игр нацисты разрешили заново открыть в городе гей-бары, ну я и купился. А потом Игры кончились, иностранцы разъехались, а я, дурак, остался у гестапо на карандаше. Такие вот гвоздики с колечками... Что? Аа-а... это у меня присловье такое, Ваша честь.

Евреев в Дахау было сначала не так много – больше всё коммунисты, цыгане, криминал, ну и мы, стосемидесятипятники... Конечно, объясню, пожалуйста. Стосемидесятипятниками нас называли по сто семьдесят пятой статье, запрещающей гомосексуализм. Закон-то давний... правда, до Гитлера особо не применявшийся. Но в тридцать пятом году нацисты к нему такие

зубы приделали, что просто гвоздики с колечками... Обнял кого-нибудь – просто обнял, Ваша честь, и ничего другого – шесть месяцев лагеря. И это ведь только так говорилось «шесть месяцев»... – на самом деле сажали до полного, как они говорили, «излечения». А лечили нацисты по-разному. Вернее, даже не лечили, а искали способы лечения, потому что не получалось. Били, накачивали тестостероном, кастрировали... – ага, и такое бывало. Водили к женщинам – проверять, вылечился ли. Был у них дом с цыганками, еврейками и проститутками из криминала – тоже заключенными, понятное дело.

Нет, Ваша честь, меня не лечили, Бог миловал. Понимаете, в подопытные кролики брали только здоровых, для чистоты эксперимента. А я как-то всегда ухитрялся держаться ровно посерединке: всегда был среди тех, кто еще годен для работы, но уже не подходит для качественного опыта. Это, скажу я вам, целое искусство. Хе-хе... Сначала я симулировал малярию, а потом и впрямь ею заболел – смешно, правда? У нас там минимум треть от малярии тряслась. Туберкулез, тиф... короче, хватало. Но и болеть надо умеючи – так, чтобы не свалиться с той самой золотой серединной тропки: и в лунатики не попасть, и на опыты не загреметь. Лунатики? Хе-хе... Это, Ваша честь, такие доходяги, которые уже совсем на грани. Их можно по походке отличить: идут как во сне, еле ноги передвигают, и взгляд у них такой... ну... будто глаза смотрят внутрь, а внутри ничего нету, кроме луны, и это их ужасно удивляет. Таких даже эсэсовцы не трогали, потому что – зачем? Ага, так и ходили. А чего не походить, это ведь недолго. Два дня. Максимум – три. А потом в крематорий.

Как вы понимаете, в лунатики можно было загреметь очень даже просто – ведь лекарств никаких не было... иногда доставали всякими длинными путями, но это редкость, да и опасно. А к эсэсовскому врачу идти не стоило совсем, лучше уж в лунатики – та же верная смерть, только не так больно. В общем, трудно там было удержаться, но я умел, причем умел хорошо. Странно, что приходится гордиться такими вещами. Ну и везение, конечно, и здоровье хорошее, спасибо папе с мамой. Так и тянул до сорок третьего. Это ж сколько получается?... Семь лет с лишним. Нет, не освободили, Ваша честь. Забили палками, насмерть. Но тут я тоже изловчился: быстро потерял сознание и умер относительно легко. Да-да, я помню, что мы тут говорим о Йозефе, а не обо мне. Я просто подумал, что эта информация вам тоже не повредит – для общего, так сказать, фона. Чтобы вы поняли, как много Йозеф должен был узнать, чтобы выжить в первый свой месяц в Дахау.

Я уже говорил, что евреи в больших количествах в лагере долго не появлялись. Но после Хрустальной ночи как прорвало. Во второй половине ноября и в несколько последующих месяцев их присылали помногу, сотнями за раз, целыми транспортами. А лагерь-то был не резиновый. Ну сколько туда влезало, даже если считать все дополнительные площадки и внешние команды? Пять тысяч? Шесть? Что-то в этом духе... но уж никак не больше десяти. И вот представьте себе, что уже людей во все блоки набили столько, что не то что лечь – встать негде... а этих все везут и везут, везут и везут... Уже и дышать нечем, а их все везут. Ну как к ним после этого прикажете относиться? Я, честно говоря, евреев и так не очень-то жаловал, а тут просто невзлюбил. Ведь большинство болезней в лагере происходят от тесноты, Ваша честь. Теснота, если хотите знать, является главнейшим врагом человечества. Там, где одно человеческое существо об другое трется, неизбежно заводится какая-нибудь зараза: то ли бактерия, то ли вошь. Вши-то точно от трения межчеловеческого происходят, это я сам видел, гвоздики с колечками...

В общем, все их невзлюбили, потому что несли они с собой тесноту, то есть большое неудобство для любого лагерного жителя. И поначалу мы даже радовались, когда наши бонзы – старшие по блокам и капо рабочих команд – над ними измывались. Зачем? Ну как зачем... Чтобы поскорее извести и таким образом вернуть тесноту хотя бы к прежнему уровню, о котором уже в декабре вспоминали как не о тесноте даже, а наоборот, как об удивительном просторе. Я сказал «поначалу радовались», оттого что потом отношение изменилось. Во-первых,

привыкли и к новой тесноте. Вы не представляете, Ваша честь, к каким вещам способен привыкнуть человек... да... А во-вторых, поняли, что вернуть прежние условия не удастся – ведь на место умерших немедленно привозили новых. А у нас, у стосемидесятипятичников, имелась еще одна причина – думаю, самая важная.

Дело в том, Ваша честь, что до приезда евреев мы были самой униженной кастой в лагере – хуже коммунистов. Нацисты придумали систему – как различать, кто за что сидит. Вообще-то заключенные носили одинаковые полосатые куртки. Но на куртках, прямо на сердце, был нашит треугольник определенного цвета. Политическим, понятно, отвели красный, уголовникам – зеленый, цыгане носили коричневый, антисоциальные элементы – черный... ну и так далее. Так вот, в лагерной грязи треугольники часто замызгивались так, что никто не мог отличить, допустим, «коричневого» цыгана от «красного» коммуниста или «синего» эмигранта от «пурпурного» свидетеля Иеговы. Ведь все треугольники были одного и того же размера. И заключенным это очень нравилось, потому что чем лагерная толпа больше и чем меньше ты из нее выделяешься, тем лучше твои шансы на выживание, чисто статистически.

Я сказал, что все треугольники были одинаковы. Все, кроме нашего, розового. Треугольник стосемидесятипятичников отличался своими заметно большими размерами. Как ни замызгивай, все равно любой эсэсовец уверенно выделит тебя издалека из общей толпы. И только с появлением большого количества евреев с шестиугольной звездой на груди различие в величине треугольника перестало так сильно бросаться в глаза. Наше несладкое место заняли другие, еще более отверженные, чем мы. До этого ведь вопрос стоял так: большой треугольник или маленький? Теперь же он, вопрос то есть, изменился самым коренным образом и звучал совершенно иначе: треугольник или звезда? Таким образом мы, стосемидесятипятичники, как бы вернулись в общую массу, и это не могло не облегчить нашу жизнь.

Более того, чем ближе к тебе находился человек со звездой, тем больше было шансов, что палец блокфюрера или вахтмана укажет именно на него, а не тебя. Если вы, Ваша честь, представите себе работу громоотвода, то именно так это выглядело и в нашем случае, и поэтому те, кто посмышленнее и поопытнее, стали обзаводиться такими еврейскими громоотводами. Ну и я тоже решил не отставать. Йозеф был моим вторым по счету громоотводом; первый, адвокат из Штутгарта, продержался менее трех недель. Да-да, Ваша честь, с адвокатом у меня вышла промашка... хе-хе... и на старуху бывает проруха. Так-то, на глаз, он казался вполне крепеньким, хотя и немолодым. Кто ж мог знать, что у него окажется больное сердце?

После первого неудачного опыта я понял, что надо искать себе кого-нибудь помоложе, ну и... Только я не хотел бы, чтобы у вас создалось впечатление, будто я каким-то некрасивым образом использовал своих евреев. Это абсолютно не так, Ваша честь. Речь тут шла исключительно о взаимовыгодном союзе, можно даже сказать, симбиозе. Я честно вносил свою лепту, обучая новичков лагерной премудрости, и еще неизвестно, кто кому в этой ситуации был полезнее. В конце концов, это ведь не я решил, что у них на груди должна быть именно звезда, а не треугольник, как у всех нормальных людей!

Йозеф выглядел совсем мальчиком... нежным мальчиком восемнадцати лет. Наверное, в качестве громоотвода больше подошел бы кто-нибудь поглубже, но уж больно он был красив, прямо Иосиф Прекрасный, да и только. Не подумайте, что между нами возникли какие-то отношения – клянусь вам, нет!.. Боже упаси... да и как это в лагере... но на воле я бы непременно в него влюбился, и не я один. Хе-хе... В общем, вышел я искать громоотвод, а нашел... нет, Ваша честь, не любовь... А впрочем, черт с ним, почему бы не назвать вещи своими именами? Конечно, это была безнадежная любовь, без шансов на то, что когда-нибудь, где-нибудь... Но, Ваша честь, разве можно наказывать за фантазии, когда они надежно похоронены глубоко-глубоко в голове? За фантазии о чистом и светлом чувстве между двумя людьми, особенно когда фантазируешь тайком, крепко закрыв глаза, чтобы не выдать себя даже взгля-

дом... и лежа при этом на кишаших вшами тифозных нарах концлагерного блока, среди крысиного визга и сумасшедшего бормотания лунатиков? Разве это преступление, Ваша честь?... Можно мне воды?

Спасибо. Это было абсолютно бескорыстное чувство, Ваша честь. Наша любовь всегда бескорытна... я имею в виду нас, хе-хе... стосемидесятипятипятиков. У нас нету этого вечного перетягивания каната: кто из двоих главнее?... кто кого подомнет?... и так далее. Мы просто... да-да, извините, я опять отклонился от темы. Вернее, не так уж я и отклонился, потому что хотел сказать, что очень к нему привязался, к Йозефу. Если бы можно было поменяться с ним нашивками, я бы, поверьте, сделал это с радостью. Я был бы просто счастлив, Ваша честь, навесить на себя его проклятую звезду, а ему отдать свой проклятый треугольник. Точно так же, как я был счастлив, когда его освободили, хотя и знал, что мы расстанемся вернее всего навсегда.

Он был нежным мальчиком из профессорской семьи. Папаша у него ходил в героях Первой мировой войны, дважды раненный, весь в медальках и орденах. Всю жизнь гордился тем, что защищал родную Германию. Это-то их и сгубило. Когда в тридцать третьем году нацисты провели закон о гражданской службе, всех неарийцев стали выкидывать с работы и из университетов тоже. Йозефов папаша, не то физик, не то химик, изобретал что-то взрывающее... а может, стреляющее... короче, деталей я не помню. Помогал своей стране вооружаться, чтобы смыть пятно Версальского позора. Хе-хе...

Йозеф говорил, что мать сразу сказала, что надо бежать, пока еще есть такая возможность. Но папаша отказался. Он, видите ли, верил в здравый смысл и духовную чистоту немецкого народа, старый козел... извините, Ваша честь, сорвалось... Тем более вскоре выяснилось, что выгоняют не всех. Ветераны войны продолжали работать на прежних местах, даже если им не выпало такое счастье родиться арийцами. Конечно, папаша узрел в этом лишнее подтверждение своей правоты. Из университета его все-таки выперли, правда, только через три года, после того как нацисты отменили последние поблажки для неарийцев. Но и тут господин профессор отказывался верить своим глазам. Не зря у нас говорят: «Самый упрямый мул – еврейский». Так вот и получилось, что, когда он наконец взялся за ум, бежать было некуда. Во-первых, власти требовали заплатить огромный налог, а денежек-то после двух лет безработицы уже не хватало. А во-вторых, никто теперь не давал виз. Ни Америка, ни Англия, ни Швейцария, ни Франция... – никто. Никто, Ваша честь, не хотел моего прекрасного Йозефа. Кроме, конечно, меня и нацистов.

Когда их арестовывали, отец сказал Йозефу, чтобы тот не волновался – он позвонит своему фронтовому другу в Берлин, и все устроится. «Не бойся, Йоселе, нас сразу же освободят! Это ошибка!» – кричал он вслед своему сыну, пока гестаповец не стукнул его хорошенько по глупой профессорской плечи. Нет, Ваша честь, я не злорадствую, мне просто очень обидно за моего бедного несмышленного Йозефа. Мальчик так верил отцу... прямо-таки боготворил его. «Вот увидишь, Карузо», – говорил он мне... Карузо – это моя кличка, Ваша честь. Дело в том, что я просто обожал петь, а слухом меня Бог обидел, причем очень сильно, вот и прозвали меня так – Карузо. Смешно, правда?

«Вот увидишь, Карузо, – говорил он мне, – не пройдет и недели, как я отсюда выйду. Знал бы ты, какие у папы друзья в Берлине!»

Ага, как же... для того, чтобы выйти оттуда, требовались как минимум две вещи: деньги и виза, а у них не было ни того, ни другого. Я, конечно, изо всех сил старался поддерживать парня, особенно когда он уже разобрал, что к чему, и начал падать духом. «Не вешай носа, Йос! – так я его называл – Йос. – Папаша вот-вот вызволит тебя из этой вонючей ямы, и ты должен беречь себя, чтобы целехоньким предстать пред его светлые очи!»

Хе-хе... гвоздики с колечками...

Беречь... легко сказать, Ваша честь, да трудно сделать. Работы у нас тогда были такие: щебеночный карьер, осушка канав и слесарная мастерская. В карьере он бы долго не протянул, это точно. Тут молодой, не молодой – не столь важно; все решает ухватка. Если умеешь за тачку ухватиться – протянешь несколько месяцев, а там, глядишь, и соскочишь на какую другую работенку. А не умеешь – пиши пропало. В полдня руки-ноги собьешь, а на завтра уже спотыкаться начинаешь, тачки ронять... а где тачку уронил, там и капо с палкой, и вахтман с хлыстом. Бывало, люди за неделю до лунатиков доходили. И паренек мой дошел бы... с его-то руками да за тачку... хе-хе...

Канавы тоже не годились. Там хоть и попроще, но уж больно нездорово: вечно мокрый с головы до ног, а одежды-то никакой. Вот тебе и малярия с пневмонией... Так или иначе, оставалась одна слесарка, гвоздики с колечками. Тоже несладко – напильником по четырнадцать часов скрежетать, но, по крайней мере, в тепле и под крышей. Правда, была нешуточная опасность и в слесарке – там особенно следили за нормой. Не выработал норму – карцер. А карцер, Ваша честь, – это такое место, рядом с которым лагерный барак кажется президентскими апартаментами в отеле «Эксельсиор». Каменный мешок, где сидели без света, без воздуха и без еды, зато в цепях и в собственных экскрементах. Только самые крепкие, выйдя оттуда, не сваливались в лунатики. Нет, сам я не попадал. Я ж вам говорил, что в лагере выживает только тот, кто учится на чужих ошибках.

Лично я работал в то время в этой самой слесарке и с нормой справлялся легко: так уж получилось, что есть у меня эта ловкость в руках, хватка то есть. А до этого и с тачкой управлялся лучше всех, скажу не хвастаясь. Так что если приналечь, то можно было и за себя отработать, и Йозефу немного помочь. В общем, стал я добиваться, чтобы его в слесарку определили. Да... ну и... добился. Как? А как чего-то добиваются в лагере? Платишь кому надо и получаешь что надо. Что? Чем платишь?.. Ну... Конечно, мог бы я вам сейчас сказать, что были у меня, как и у всякого опытного заключенного, притырены тут и там всякие заначки на черный день. И ведь действительно были заначки: и денежек немного, и сигареты – лагерная валюта, и лекарства кое-какие, и даже ампула морфия, выменянная у лазаретского медбрата за губную гармошку. Мог бы сказать... – но как соврать столь высокому суду, Ваша честь? Всех моих сокровищ не хватило бы и на половину требуемой взятки. Так что пришлось мне заплатить иначе.

У стосемидесятипятника, Ваша честь, всегда есть чем заплатить, если очень-очень надо... А я так хотел, чтобы паренек уцелел. «Ничего, Карузо, – сказал я себе, – потерпи, а потом, на небесах, этот грех зачтется тебе как благо».

Самое смешное, что так оно и случилось. Натерпеться-то я натерпелся, это да... но по-настоящему опытный человек... Что? Что такое по-настоящему опытный? Ну, это просто, Ваша честь. По-настоящему – это значит в науке выживания. Любой другой опыт – не настоящий. Я так думаю. Вернее, так меня учит мой собственный настоящий опыт, гвоздики с колечками. Так вот, по-настоящему опытный человек знает, что он действительно сотворен из глины, но подобен Богу.

А практически это означает такую интересную вещь. Неважно, что делают с твоим телом, потому что это всего-навсего глина. Пусть себе мнут и давят как угодно, лишь бы не отрывали от него куски, лишь бы потом можно было аккуратненько слепить себя заново. Но пока они это делают с глиной, ты должен обязательно помнить о своей богоподобности. А Бог, он ведь что сделал? Сотворил этот мир, будь он прок... извините, Ваша честь, это меня куда-то не туда занесло. Я всего-то и хотел сказать, что в такие моменты нужно сотворить себе отдельный мир, но не такой, где гнут и корежат твою глину, а другой, замечательно красивый и очень удобный для повседневной человеческой жизни... и просто жить в нем, вот и все.

А терпение всегда идет в зачет, особенно бескорыстное... Впрочем, это я уже говорил. Кто-то может сказать, что во всем этом деле была у меня своя, личная корысть, но видит Бог,

это не так. Конечно, потом, когда мы начали вместе работать бок о бок в лагерной слесарке, я был счастлив, и поэтому вроде бы действительно выходит корысть, но, с другой стороны, это и не корысть вовсе – ведь я был счастлив только тем, что уберег его, Йозефа. Хотя опять же... в общем, не знаю, не знаю... совсем я с этим запутался, но вы-то уж точно разберетесь, правда ведь, Ваша честь? Потому что если не вы то кто же тогда разберется?

А счастье было. Да, да. Это кажется невероятным, но я был необыкновенно счастлив в той темной слесарке посреди концлагеря, вжикая напильником рядом с моим мальчуганом. Я спас его от смерти с самого начала. Я спасал его от смерти каждый божий день, проводя по единственно верным тропинкам, подбрасывая недостающие до нормы детали, запихивая в спасительную толпу в моменты опасности. Я был его проводником в аду, как Вергилий для Данте. Грех сказать, но временами я благодарил Бога за то, что он устроил мне эту удивительную декорацию: Гитлера, нацистов, Дахау, Хрустальную ночь и упрямого папашу-профессора. Ведь не случись этого, не случилось бы и самых счастливых недель в моей жизни.

Сначала я смотрел на него, на его чистый профиль, склоненный над тисками, на его тонкие руки, сжимающие напильник, на пушистые ресницы, забавно вздрагивающие при каждом усилии. Я смотрел осторожно, вовремя отворачиваясь, чтобы не смутить и не причинить ему лишнего неудобства. А потом мне уже не требовалось смотреть прямо – я видел его и так, самым краешком глаза, боковым зрением, как собака. Я видел его даже затылком, спиной, локтем – чем угодно. Скорее всего, я видел его всем своим существом, Ваша честь, всем телом... по-моему, недавно я назвал тело глиной? – так вот, я видел его всей своей глиной, вернее, его присутствие делало мою глину зрячей. Зрячей и счастливой, да простит меня Ваша честь за неуместную высокопарность. Просто я не знаю, как выразить это по-другому.

Он говорил: «Карузо, без тебя я не выжил бы здесь и дня». И это была сущая правда – как сказать «солнце восходит на востоке» или «эсэсовец не бывает добрым». Но тем не менее, я попадал прямоиком на седьмое небо, стоило мне только услышать от него эти слова. Йозеф часто рассказывал мне о своей семье, о том, кем он хотел стать и где учиться, пока не выяснилось, что все эти планы не подходят для нынешней Германии. Папаша толкал его на свою химию или физику, в Геттингенский университет, где сам он когда-то учился у каких-то знаменитостей. А мальчика тянуло к музыке, но он и думать не мог послушаться своего упрямого родителя. Йозеф как-то сказал мне, что обрадовался запрету на поступление в университеты, потому что избавился таким образом от нелюбимого дела. Ну не смешно ли, Ваша честь? Если я чему-то и научился у Йозефа, так это чисто еврейской манере находить положительные стороны даже в самой что ни на есть черноте.

Зато папашу-профессора я прямо-таки возненавидел. Думаю, эта ненависть происходила от ревности – уж больно Йозеф его боготворил. Часто я не мог удержаться и отпускал разные ядовитые замечания по папашину адресу, на что Йозеф всякий раз произносил пылкую защитительную речь. При этом он частенько так увлекался, что прекращал работать, и мне приходилось следить в три глаза, чтобы капо, не дай бог, не заметил. Каждый такой перерыв добавлял мне седых волос и пару дополнительных уголков к моей и без того большой норме, но овчинка стоила выделки. Как он был красив, мой Иосиф Прекрасный! Как сладко лился его голос прямоиком в мое замирающее от любви сердце!

Я упомянул, что он был музыкален необыкновенно... а может, и обыкновенно – не знаю, не мне судить. Мне все в нем казалось необыкновенным. Одно я могу вам сказать, Ваша честь: Йозеф мог напеть любую арию, что из Верди, что из Вагнера, а «Лоэнгрина» так и просто знал наизусть – всю оперу, до последнего звука. Каждое утро в слесарке начиналось у нас с того, что мы выбирали сегодняшнюю программу: оперу, состав исполнителей и даже дирижера. Ведь Йозеф мог изображать разные манеры и темп исполнения. А потом он тихонько напевал мне замечательные спектакли. Ах, Ваша честь! Любой скажет вам, что Дахау был адом на земле. Но для меня он стал раем небесным... можно ли такое представить?

А потом настал день, когда все кончилось. Видимо, Господь посчитал, что невозможно давать одному человеку так много счастья в течение столь долгого времени. Но я на Него за это не в обиде, Ваша честь: в конце концов, что-то должно ведь достаться и остальному человечеству. Да и вообще, я очень благодарен Всевышнему за небольшую сделку, которую мы с Ним заключили немного позже. Но обо всем по порядку. В тот день мы выбрали «Лоэнгрину». Там есть такое чудесная сцена из третьего действия, когда Лоэнгрин и Эльза остаются вдвоем, и он поет:

Приди ко мне, моя отрада,
Прижмись скорей к моей груди!
Твой взор сияет мне наградой,
Мой чудный сон, не уходи!

Гм... Извините, Ваша честь... Теперь вы понимаете, отчего меня прозвали Карузо... Поверьте, в моей душе эта волшебная ария звучит без малейшей фальши, с удивительной чистотой и силой. Просто поразительно, как это, выходя наружу, она превращается в такой ужасающе фальшивый скрежет? Но, знаете, если уж Создатель хочет потешить свое тонкое чувство юмора, то пускай смеется над нами только таким образом... В общем, это мое любимое место. Оттого-то я и потерял свою прославленную бдительность – всего на пару минуток, на пару минуток. А у Йозефа ее и вовсе никогда не было. Он уже начал за Эльзу: «О, нет! Я безутешна!»... – и тут сквозь вжиканье напильников мы услышали характерное поскрипывание.

У эсэсовских сапог есть особый звук, Ваша честь, когда их обладатель задумчиво покачивается с пятки на носок, прикидывая, убить тебя тут же, на месте, или прежде помучить. Я обернулся и понял, что произошло непоправимое. Прямо за нашими спинами стоял господин Штайгер, лагерфюрер Дахау собственной персоной. Лагерфюрер, Ваша честь, отвечает в концлагере за дисциплину. В отличие от большинства своих коллег, бывших садистами по призванию, Штайгер был им еще и по должности. За плечом Штайгера виднелся наш капо, зажмуривший глаза от ужаса, как суслик перед надвигающейся грозой. Во всей слесарке уже наступила мертвая тишина, и только Йозеф, как ополоумевший соловей, продолжал выводить эльзину руладу. Это длилось бесконечно, но наконец и он понял, что происходит что-то неладное.

– Так-так, – бесстрастно сказал Штайгер. – Дерьмовый жидовский наглец. Марает Вагнера. Германскую гордость. Германскую честь. Своим поганым жидовским ртом.

Он всегда говорил так – короткими рублеными фразами. Они шелестели в наших ушах, как нож гильотины, а точки падали, как удар, как отрубленная голова в корзину.

– Это Вагнер, – сказал Штайгер. – А это жид. Ты что, не понимаешь разницу?

Он обращался к Йозефу, а тот стоял напротив него с трясущимися губами, белый как полотно.

– Я... я... извините... – пробормотал он.

– Если собака пачкает, собаку учат, – сказал Штайгер и обернулся к капо. – Положите его сюда. – Он указал на верстак.

«Ты – глина, – сказал я себе. – Ты – глина». Но это не помогло, Ваша честь, потому что теперь речь шла не о моем теле, а о Йозефе, о Йозефе, который был мне дороже всего, дороже всех сокровищ в мире и, уж конечно, дороже моей собственной жизни. Если бы это могло помочь, я точно бросился бы на Штайгера; я бы задушил его, я бы загрыз его, я бы рвал его на куски и жрал бы их сырыми, лишь бы только спасти моего мальчика от этой гадины. Но к несчастью, любое сопротивление означало немедленную смерть всех присутствующих, а значит, и Йозефа тоже. Единственный шанс заключался в терпении, Ваша честь, и я терпел.

Йозефа положили на верстак. Штайгер взял в руки напильник.

– Пой, – сказал он. – Сейчас ты поймешь, что Вагнер несовместим с жидами. Пой!!

Йозеф запел. Даже тогда, еле живой от страха, он пел не фальшивя. Штайгер ударил его напильником в рот. Я отвернулся, Ваша честь, я не мог больше смотреть. Думаю, что сердце мое не разорвалось только потому, что Йозефу могла понадобиться помощь. Я слышал звуки ударов и голос Штайгера.

– Вместе с зубами! – кричал он. – Я вобью в тебя твою наглость вместе с зубами! Пой! Пой!

Потом раздался звон напильника о каменный пол слесарки, и я посмотрел. Йозеф лежал на верстаке с окровавленным ртом, с безумными глазами, но живой! Живой! Штайгер поправил воротничок и пошел к выходу. Неужели пронесло? Однако я рано радовался. На пороге лагерфюрер остановился и обернулся к капо:

– На баум его! Пока не сдохнет.

Я почувствовал, как земля поплыла у меня под ногами. Баум, Ваша честь, это такой столб, на который у нас подвешивали провинившихся заключенных. Связывали руки за спиной, потом цепляли за запястья и, выворачивая плечи, вздергивали на баум, как на дыбу. Боль жуткая – такая, что люди даже кричат как-то по-особому, как-то блеют будто, а не кричат. А потом перестают и блеять, просто впадают в безумие.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.